



*Паровоз мудро устроен, но он этого  
не сознает, и какая цель была бы  
устроить паровоз, если бы на нем  
не было машиниста?*

*Митрофан Сребрянский*

## БРАМА

Когда я пришел в себя, вокруг была большая комната, обставленная старинной мебелью. Обстановка была, пожалуй, даже антикварная — покрытый резными звездами зеркальный шкаф, причудливый секретер, два полотна с обнаженной натурой и маленькая картина с конным Наполеоном в боевом дыму. Одну стену занимала доходящая до потолка картотека из карельской березы, очень изысканного вида. На ее ящичках были таблички с разноцветными надписями и значками, а рядом стояла лестница-стремянка.

Я понял, что не лежу, как полагается пришедшему в сознание человеку, а стою. Я не падал, потому что мои руки и ноги были крепко привязаны к шведской стенке. Я догадался, что это шведская стенка, нащупав пальцами деревянную перекладину. Другие перекладины упирались мне в спину.

Напротив, на маленьком красном диване у стены, сидел человек в красном халате и черной маске. Маска напоминала своей формой не то нахлобученный до плеч цилиндр, не то картонный шлем пса-рыцаря из фильма «Ледовое побоище». В районе носа был острый выступ, на месте глаз — две овальных дыры, а в области рта — прямоугольный вырез, прикрытый черной тряпочкой. Примерно так выглядели средне-

вековые доктора на гравюрах, изображавших чуму в Европе.

Я даже не испугался.

— Добрый день, — сказал человек в маске.

— Здравствуйте, — ответил я, с трудом разлепив губы.

— Как тебя зовут?

— Роман, — сказал я.

— Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— Почему не в армии?

Я не стал отвечать на вопрос, решив, что это шутка.

— Я прошу прощения за некоторую театральность ситуации, — продолжал человек в маске. — Если у тебя болит голова, сейчас все пройдет. Я усыпил тебя специальным газом.

— Каким газом?

— Который применяют против террористов. Ничего страшного, все уже позади. Предупреждаю — не кричать. Кричать смысла нет. Это не поможет. Результат будет один — у меня начнется мигрень, и беседа будет испорчена.

У незнакомца был уверенный низкий голос. Закрывавшая рот тряпочка на его маске колыхалась, когда он говорил.

— Кто вы такой?

— Меня зовут Брама.

— А почему на вас маска?

— По многим причинам, — сказал Брама. — Но это в твою пользу. Если наши отношения не сложатся, я смогу отпустить тебя без опаски, потому что ты не будешь знать, как я выгляжу.

Я испытал большое облегчение, услышав, что меня собираются отпустить. Но эти слова могли быть уловкой.

— Что вы хотите? — спросил я.

— Я хочу, чтобы в одной очень важной части моего тела и одновременно моего духа проснулся к тебе живой интерес. Но это, видишь ли, может произойти только в том случае, если ты человек благородного аристократического рода...

«Маньяк, — подумал я. — Главное — не нервничать... Отвлекать его разговором...»

— Почему обязательно благородного аристократического рода?

— Качество красной жидкости в твоих венах играет большую роль. Шанс невелик.

— А что значит живой интерес? — спросил я. — Имеется в виду, пока я еще жив?

— Смешно, — сказал Брама. — Скорее всего, словами я здесь ничего не добьюсь. Нужна демонстрация.

Встав с дивана, он подошел ко мне, откинул закрывавшую рот черную тряпку и наклонился к моему правому уху. Почувствовав чужое дыхание на своем лице, я сжался — вот-вот должно было случиться что-то омерзительное.

«Сам в гости пришел, — подумал я. — Надо же было, а?»

Но ничего не произошло — подышав мне в ухо, Брама отвернулся и пошел назад на диван.

— Можно было укусить тебя в руку, — сказал он. — Но руки у тебя, к сожалению, связаны и затекли. Поэтому эффект был бы не тот.

— Вы же мне руки и связали.

— Да, — вздохнул Брама. — Я, наверно, должен извиниться за свои действия — догадываюсь, что выглядят они довольно странно и скверно. Но сейчас тебе все станет ясно.

Устроившись на диване, он уставился на меня, словно я был картинкой в телевизоре, и несколько секунд изучал, изредка причмокивая языком.

— Не волнуйся, — сказал он, — я не сексуальный маньяк. На этот счет ты можешь быть спокоен.

— А кто же вы?

— Я вампир. А вампиры не бывают извращенцами. Иногда они выдают себя за извращенцев. Но у них совершенно другие интересы и цели.

«Нет, это не извращенец, — подумал я. — Это сумасшедший извращенец. Надо постоянно говорить, чтобы отвлекать его...»

— Вампир? Вы кровь пьете?

— Не то чтобы стаканами, — ответил Брама, — и не то чтобы на этом строилась моя самоидентификация... Но бывает и такое.

— А зачем вы ее пьете?

— Это лучший способ познакомиться с человеком.

— Как это?

Глаза в овальных дырах маски несколько раз моргнули, и рот под черной тряпочкой сказал:

— Когда-то два росших на стене дерева, лимонное и апельсиновое, были не просто деревьями, а воротами в волшебный и таинственный мир. А потом что-то случилось. Ворота исчезли, а вместо них остались просто два прямоугольных куска материи, висящих на стене. Исчезли не только ворота, но и мир, куда они вели. И даже страшная летающая собака, которая сторожила вход в этот мир, стала просто плетеным веером с тропического курорта...

Сказать, что я был поражен — значит ничего не сказать. Я был оглушен. Эти слова, которые показались бы любому нормальному человеку полной абракадаброй, были секретным кодом моего детства. Самым поразительным было то, что сформулировать все подобным образом мог только один человек во всем мире — я сам. Я долго молчал. Потом не выдержал.

— Я не понимаю, — сказал я. — Допустим, я мог рассказать про картины, когда был без сознания. Но ведь про этот волшебный мир за воротами я рассказать не мог. Потому что я никогда его так не называл. Хотя сейчас вы сказали, и я вижу, что все это чистая правда, да. Так и было...

— А знаешь, почему все так произошло? — спросил Брама.

— Почему?

— Волшебный мир, где ты жил раньше, придумывал прятанвшийся в траве кузнечик. А потом пришла лягушка, которая его съела. И тебе сразу негде стало жить, хотя в твоей комнате все осталось по-прежнему.

— Да, — сказал я растерянно. — И это тоже правда... Очень точно сказано.

— Вспомни какую-нибудь вещь, — сказал Брама, — про которую знаешь только ты. Любую. И задай мне вопрос — такой, ответ на который знаешь тоже только ты.

— Хорошо, — сказал я и задумался. — Ну вот, например... У меня дома на стене висел веер — вы про него только что говорили. Каким образом он был прикреплен к стене?

Брама прикрыл глаза в прорезях маски.

— Приклеен. А клей был намазан буквой «Х». Причем это не просто крестик, это именно буква «Х». Имелось в виду направление, куда должна была пойти мама, которая повесила веер над кроватью.

— Как...

Брама поднял ладонь.

— Подожди. А приклеил ты его потому, что веер стал казаться тебе собакой-вампиром, которая кусает тебя по ночам. Это, конечно, полнейшая ерунда. И даже оскорбительно по отношению к настоящим вампирам.

— Как вы это узнали?

Брама встал с дивана и подошел ко мне. Пальцем откинув черную тряпочку, он открыл рот. У него были темные прокуренные зубы — крепкие и крупные. Я не увидел ничего необычного, только клыки, пожалуй, были чуть белее, чем остальные зубы. Брама поднял голову так, чтобы я увидел его небо. Там была какая-то странная волнистая мембрана оранжевого цвета — словно прилипший к десне фрагмент стоматологического моста.

— Что это? — спросил я.

— Там *язык*, — сказал Брама, выделив это слово интонацией.

— Язык? — повторил я.

— Это не человеческий язык. Это душа и суть вампира.

— Им вы все узнаете?

— Да.

— А как можно узнавать языком?

— Объяснять бесполезно. Если ты хочешь понять это, тебе надо стать вампиром самому.

— Я не уверен, что мне этого хочется.

Брама вернулся на свой диван.

— Видишь ли, Рома, — сказал он, — всеми нами управляет судьба. Ты пришел сюда сам. А у меня очень мало времени.

— Вы собираетесь меня учить?

— Не я. Учителем выступает не личность вампира, а его природа. А обучение заключается в том, что вампир кусает ученика. Но это не значит, что любой человек, которого укусит вампир, становится вампиром. Как говорят в плохих фильмах, хе-хе, такое бывает только в плохих фильмах...

Он засмеялся собственной шутке. Я попытался улыбнуться, но это получилось плохо.

— Существует особый укус, — продолжал он, — на который вампир способен только раз в жизни. И только в том случае, если захочет язык. По традиции, это происходит в день летнего солнцестояния. Ты подходишь. Мой язык перейдет в тебя.

— Как это — перейдет?

— В прямом смысле. Физически. Хочу предупредить, что будет больно. И сразу, и потом. Ты будешь плохо себя чувствовать. Как после укуса ядовитой змеи. Но постепенно все пройдет.

— А вы не можете найти себе другого ученика?

Он не обратил на эти слова внимания.

— Ты можешь на время потерять сознание. Твое тело одеревенеет. Возможно, будут галлюцинации. Их, впрочем, может и не быть. Но одна вещь произойдет обязательно.

— Какая?

— Ты вспомнишь всю свою жизнь. Язык будет знакомиться с твоим прошлым — он должен знать о тебе все. Говорят, нечто похожее бывает, когда человек тонет. Но ты еще совсем молод и тонуть будешь недолго.

— А что в это время будете делать вы?

Брама как-то странно хмыкнул.

— Не волнуйся. У меня есть тщательно продуманный план действий.

С этими словами он шагнул ко мне, схватил меня рукой за волосы и пригнул мою голову к плечу. Я ожидал, что он укусит меня, но вместо этого он укусил сам себя — за палец. Его кисть сразу залило кровью.

— Не шевелись, — сказал он, — тебе же будет лучше.

Вид крови напугал меня, и я подчинился. Он поднес окровавленный палец к моему лбу и что-то на-



писал на нем. А затем безо всякого предупреждения впился зубами мне в шею.

Я закричал, вернее, замычал — он держал мою голову так, что я не мог открыть рта. Боль в шее была невыносимой — словно сумасшедший зубной врач вонзил мне под челюсть свое электрическое сверло. Была секунда, когда я решил, что пришла смерть, и смирился с нею. И вдруг все кончилось — он отпустил меня и отскочил. Я чувствовал на своей щеке и шее кровь; ею была измазана его маска и тряпка, закрывавшая рот.

Я понял, что это не моя кровь, а его собственная — она текла из его рта по шее, по груди, по его красному халату и густыми каплями падала на пол. С ним что-то случилось — можно было подумать, искусили не меня, а его. Шатаясь, он вернулся на свой красный диван, сел на него, и его ноги быстро заело-зили взад-вперед по паркету.

Я вспомнил фильм Тарковского «Андрей Рублев», где показывали старинную казнь — монаху заливали в рот расплавленный металл. Все время перед экзекуцией монах страшно ругал своих палачей, но после того как они влили металл ему в глотку, не произнес больше ни слова, и только дергался всем телом. Страшнее всего было именно его молчание. Таким же страшным показалось мне молчание моего собеседника.

Не переставая дрыгать ногами, он сунул руку в карман халата, достал маленький никелированный пистолет и быстро выстрелил себе в голову — в бок цилиндрической маски, скрывавшей его лицо. Его голова качнулась из стороны в сторону, рука с пистолетом упала на диван, и он замер.

Тут я почувствовал в своей шее, под челюстью, какое-то слабое движение. Больно не было — слов-

но мне вкололи анестезию, — но было жутко. Я уже терял сознание, и происходящее ощущалось все слабее. Меня неудержимо клонило в сон.

Брама сказал правду. Мне стало грезиться прошлое — словно в голове обнаружился маленький уютный кинозал, где начался просмотр документального фильма про мое детство. Как странно, думал я, ведь с самого начала я боялся именно вампиров...

## СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД

С рождения я жил вдвоем с матерью в Москве, в доме профкома драматургов у метро «Сокол». Дом был высшей советской категории — из бежевого кирпича, многоэтажный и как бы западного типа. В таких селилась номенклатура ЦК и избранные слои советской духовной элиты — вокруг всегда было много черных «Волг» с мигалками, а на лестничных клетках в изобилии встречались окурки от лучших американских сигарет. Мы с матерью занимали небольшую двухкомнатную квартирку вроде тех, что в закатных странах называют «one bedroom».

В этой самой bedroom я и вырос. Моя комната задумывалась архитектором как спальня — она была маленькой и продолговатой, с крохотным окном, из которого открывался вид на автостоянку. Я не мог обустроить ее по своему вкусу: мать выбирала расцветку обоев, решала, где должна стоять кровать, а где стол, и даже определяла, что будет висеть на стенах. Это приводило к скандалам — однажды я обозвал ее «маленькой советской властью», после чего мы не говорили целую неделю.

Обиднее этих слов для нее невозможно было придумать. Моя мать, «высокая худая женщина с увядшим лицом», как однажды описал ее участковому сосед-драматург, когда-то принадлежала к диссидентским

крутам. В память об этом гостям часто прокручивалась магнитофонная пленка, где баритон известного борца с системой читал обличительные стихи, а ее голос подавал острые реплики с заднего плана.

Баритон декламировал:

Ты в метро опускаешь пятак,  
 Двое в штатском идут по пятам.  
 Ты за водкой стоишь в гастроном,  
 Двое в штатском стоят за углом...

— А это прочти, про хуй с бровями и Солженицына! — вставляла молодым голосом мать.

Так я впервые услышал матерное слово, которое благополучные дети перестроечной поры обычно узнавали от хихикающих соседей по детсадовской спальне. Каждый раз при прослушивании мама поясняла, что мат в этом контексте оправдан художественной необходимостью. Слово «контекст» было для меня даже загадочнее слова «хуй» — за всем этим угадывался таинственный и грозный мир взрослых, по направлению к которому я дрейфовал под дувшим из телевизора ветром перемен.

Правозащитная кассета была записана за много лет до моего рождения; подразумевалось, что мать отошла от активной борьбы из-за замужества, которое и увенчалось моим появлением на свет. Но материнская близость к революционной демократии, озарившая тревожным огнем мое детство, была, кажется, так и не замечена впавшим в маразм советским режимом.

Справа от моей кровати стену украшали две маленькие картины. Они были одинакового размера (сорок сантиметров в ширину, пятьдесят в высоту — первое, что я измерил линейкой из набора «подарок первокласснику»). Одна изображала лимонное де-

ревце в кадке, другая — такое же апельсиновое. Различались только цвет и форма плодов: вытянутые желтые и круглые оранжевые.

А прямо над кроватью висел плетеный веер в форме сердца. Он был слишком большим, чтобы им обмахиваться. Во впадине между сердечными буграми была круглая ручка, из-за которой веер казался похожим на гигантскую летучую мышь с маленькой головкой. В центре он был подкрашен красным лаком.

Мне казалось, что это летающая собака-вампир (я читал о таких в журнале «Вокруг Света»), которая оживает по ночам, а днем отдыхает на стене. Выпитая кровь просвечивала сквозь ее кожу, как сквозь брюшко комара, поэтому в центре веера было красное пятно.

Кровь, как я догадывался, была моя.

Я понимал, что эти страхи — эхо историй, которых я наслушался в летних лагерях (из смены в смену они повторялись без изменений). Но кошмары регулярно заставляли меня просыпаться в холодном поту. Под конец дошло до того, что я стал бояться темноты — присутствие распластавшейся на стене собаки-вампира было физически ощутимо, и следовало включить свет, чтобы заставить ее снова стать веером из пальмовых листьев. Матери жаловаться было бесполезно. Поэтому я ограничился тем, что тайне от нее приклеил веер к обоям клеем «Момент». Тогда страх прошел.

Свою первую схему мироздания я тоже вывез из летних лагерей. В одном из них я видел удивительную фреску: плоский диск земли лежал на трех китах в бледно-голубом океане. Из земли росли деревья, торчали телеграфные столбы и даже катил среди нагромождения одинаковых белых домов веселый крас-

ный трамвай. На торце земного диска было написано «СССР». Я знал, что родился в этом самом СССР, а потом он распался. Это было сложно понять. Выходило, что дома, деревья и трамваи остались на месте, а твердь, на которой они находились, исчезла... Но я был еще мал, и мой ум смирился с этим парадоксом так же, как смирился с сотнями других. Тем более что экономическую подоплеку советской катастрофы я уже начал понимать: страна, посылавшая двух офицеров в штатском туда, где в нормальных обществах обходятся пособием по безработице, не могла кончить иначе.

Но это были зыбкие тени детства.

По-настоящему я запомнил себя с момента, когда детство кончилось. Это произошло, когда я смотрел по телевизору старый мультфильм: на экране маршировала колонна коротышек, счастливых малышей из советского комикса. Весело отмахивая руками, коротышки пели:

Но вот пришла лягушка  
 Зелененькое брюшко,  
 Зелененькое брюшко,  
 И съела кузнеца.  
 Не думал не гадал он,  
 Никак не ожидал он  
 Никак не ожидал он  
 Такого вот конца...

Я сразу понял, о каком кузнеце речь: это был мускулистый строитель нового мира, который взмахивал молотом на старых плакатах, отрывных календарях и почтовых марках. Веселые коротышки отдавали Советскому Союзу последний салют из своего Солнечного города, дорогу в который люди так и не смогли найти.

Глядя на колонну коротышек, я заплакал. Но дело было не в ностальгии по СССР, которого я не помнил. Коротышки маршировали среди огромных, в полтора роста, цветов-колокольчиков. Эти огромные колокольчики вдруг напомнили мне о чем-то простом и самом главном — и уже забытом мною.

Я понял, что ласковый детский мир, в котором все предметы казались такими же большими, как эти цветы, а счастливых солнечных дорог было столько же, сколько в мультфильме, навсегда остался в прошлом. Он потерялся в траве, где сидел кузнечик, и было понятно, что дальше придется иметь дело с лягушкой — чем дальше, тем конкретней...

У нее действительно было зелененькое брюшко, а спинка была черной, и на каждом углу работало ее маленькое бронированное посольство, так называемый *обменный пункт*. Взрослые верили только ей, но я догадывался, что когда-нибудь обманет и лягушка — а кузнеца будет уже не вернуть...

Кроме коротышек из мультфильма, никто толком не попроцался с несуразной страной, в которой я родился. Даже три кита, на которых она держалась, сделали вид, что они тут ни при чем, и открыли мебельный магазин (их рекламу крутили по телевизору — «есть три кита, три кита — все остальное суета...»).

Про историю своей семьи я не знал ничего. Но некоторые из окружавших меня предметов несли на себе печать чего-то мрачно-загадочного.

Во-первых, это был старинный черно-белый эстамп, изображавший женщину-львицу с томно запрокинутым лицом, обнаженной грудью и мощными когтистыми лапами. Эстамп висел в коридоре, под похожей на лампадку лампочкой-миньоном. Лампад-

ка давала мало света, и в полутьме изображение казалось магическим и страшным.

Я предполагал, что подобное существо ждет людей за «гробовым порогом». Это выражение, которое часто повторяла мать, я затвердил раньше, чем стал понимать его смысл (такой сложной абстракции, как прекращение существования, я не мог себе представить: мне казалось, что смерть — просто переезд в места, куда ведет тропинка между лапами сфинкса).

Другим посланием из прошлого были серебряные ножи и вилки с гербом: луком со стрелой и тремя летящими журавлями. Я нашел их в серванте, который мать обычно закрывала на ключ.

Отругав меня за любопытство, мать сказала, что это герб прибалтийских баронов фон Шторквинкель. Из их рода происходил мой отец. Моя фамилия была менее аристократичной — Шторкин. Мать объяснила, что такая операция с фамилией — обычная социальная маскировка времен военного коммунизма.

Отец ушел из семьи сразу после моего рождения; никакой другой информации о нем мне не удавалось получить, как я ни старался. Стоило мне заговорить на эту тему, как мать бледнела, зажигала сигарету и говорила каждый раз одно и то же — сначала тихо, а потом постепенно переходя на крик:

— Пошел вон. Слышишь? Пошел вон, мерзавец! Пошел вон, подлец!

Я предполагал, что это связано с какой-то мрачной и романтической тайной. Но, когда я перешел в восьмой класс, мать стала переоформлять документы на жилье, и я узнал про отца больше.

Тот работал журналистом в крупной газете; я даже нашел в интернете его колонку. С маленькой фотографии над столбцом текста приветливо глядел лысый человек в очках-велосипеде, а текст статьи



объяснял, что Россия никогда не станет нормальной страной, пока народ и власть не научатся уважать чужую собственность.

Мысль была справедливая, но отчего-то меня не вдохновила. Возможно, дело было в том, что отец часто употреблял выражения, которых я тогда не понимал («плебс», «вменяемые элиты»). Улыбка на родительском лице вызвала во мне ревнивую досаду: она явно была адресована не мне, а вменяемым элитам, чью собственность я должен был научиться уважать.

Кончая школу, я задумался о выборе профессии. Из гляцевых журналов и рекламы были ясны ориентиры, на которые следовало нацелить жизнь, но вот методы, которыми можно было добиться успеха, оказались строго засекречены.

— Если количество жидкости, проходящее по трубе за единицу времени, остается прежним или растёт по линейному закону, — часто повторял на уроке учитель физики, — логично предположить, что новых людей возле этой трубы не появится очень долго.

Теорема звучала убедительно, и мне захотелось отойти от этой трубы как можно дальше — вместо того чтобы рваться к ней вместе со всеми. Я решил поступить в Институт стран Азии и Африки, выучить какой-нибудь экзотический язык и уехать на работу в тропики.

Подготовка стоила дорого, и мать наотрез отказалась оплачивать репетиторов. Я понимал, что дело было не в ее жадности, а в скудости семейного бюджета, и не роптал. Попытка вспомнить об отце окончилась обычным скандалом. Мать сказала, что настоящему мужчине следует с самого начала пробиваться самому.

Я был бы рад пробиваться — проблема заключалась в том, что было непонятно, куда и как. Мутный

туман вокруг не оказывал сопротивления — но найти в нем дорогу к деньгам и свету было мало надежды.

Я провалил первый же экзамен, сочинение, которое почему-то писали на физфаке МГУ. Тема была «Образ Родины в моем сердце». Я написал про мультфильм, где коротышки пели про кузнечика, про распиленную шайбу со словом «СССР» и ссучившихся китов... Я, конечно, догадывался, что при поступлении в такой престижный вуз не следует говорить правду, но выхода у меня не было. Погубила меня, как мне сообщили, фраза: «И все-таки я патриот — я люблю наше жестокое несправедливое общество живущее в условиях вечной мерзлоты». После слова «общество» должна была стоять запятая.

Во время прощального визита в приемную комиссию я увидел висящий на двери рисунок с изображением веселой улитки (она, как и отец на фотографии из интернета, улыбалась явно кому-то другому). Под ней было стихотворение древнеяпонского поэта:

О Улитка! Взбираясь к вершине Фудзи,  
можешь не торопиться...

Вынув ручку, я дописал:

Там на вершине Фудзи улиток полно и так.

Это было мое первое серьезное жизненное поражение. Я ответил судьбе тем, что устроился работать грузчиком в универсаме возле дома.

В первые несколько дней мне казалось, что я нырнул на самое дно жизни и стал недостижим для законов социального дарвинизма. Но вскоре я понял, что никакая глубина, никакое гетто не спасает от этих законов, поскольку любая клеточка общественного организма живет по тем же принципам, что и

общество в целом. Я даже помню, при каких обстоятельствах это стало мне ясно (в ту минуту я балансировал на грани ясновидения — но выяснилось это намного позже).

Я смотрел английский фильм «Дюна», в котором межзвездные путешествия обеспечивали так называемые навигаторы, существа, постоянно принимавшие специальный наркотик и превратившиеся из-за него во что-то среднее между человеком и птеродактилем. Навигатор расправлял свои перепончатые крылья, сворачивал пространство, и флотилия космических кораблей переносилась из одной части космоса в другую... Мне представилось, что где-то в Москве такое же жуткое перепончатое существо простирает крыла над миром. Люди ничего не замечают и муравьями ползут по своим делам, но никаких дел у них уже нет. Они еще не в курсе, а вокруг уже другая вселенная и действуют новые законы.

Эти законы действовали и в мире грузчиков — в нем полагалось правильно (не меньше и не больше определенной нормы) воровать, полагалось иметь общак, полагалось бороться за место поближе к невидимому солнцу, причем бороться не как попало, а с помощью освященных обычаем телодвижений. В общем, своя Фудзи, пускай невысокая и заблеванная, была и здесь.

Стоит ли говорить, что я снова отстал при восхождении. Меня стали назначать подряд на ночные смены и подставлять перед начальством. Быть лузером среди грузчиков показалось мне невыносимым, и, когда началось второе лето после школы, я ушел с работы.

Пока у меня оставались заработанные в универсаме деньги (с учетом украденного было не так мало), можно было сохранять относительную независимость от матери, и я сократил общение с ней до ми-

нимума. Оно, собственно, свелось к единственному ритуалу — иногда мать останавливала меня в коридоре и говорила:

— Ну-ка погляди мне в глаза!

Она была уверена, что я принимаю наркотики, и считала себя способной определить, когда я под кайфом, а когда нет. Я не употреблял никаких веществ, но у матери выходило, что я под дозой почти каждый день, а иногда — под одновременным воздействием целой группы наркотических веществ. Для вынесения вердикта отслеживался не размер зрачка или краснота белка, а какие-то особые приметы, которые мать держала в тайне, чтобы я не научился маскироваться — поэтому оспорить материнскую экспертизу было невозможно в принципе. Я и не спорил, понимая, что это будет лишним доказательством ее правоты («какой ты агрессивный становишься под наркотиками, ужас просто!»).

Кроме того, мать обладала изрядной гипнотической силой: стоило ей, например, сказать: «Да у тебя же слова прыгают!» — как у меня действительно начинали прыгать слова, хотя перед этим я даже не понимал, что это выражение может означать. Поэтому, если мать слишком уж доставала, я молча собирался и уходил из дома на несколько часов.

Однажды летним днем у нас случился очередной наркотический скандал. В этот раз он был особенно бурным; я больше не мог оставаться дома. Выходя из квартиры, я не удержался и сказал:

— Все. Больше я здесь жить не буду.

— Хорошая новость, — ответила мать с кухни.

Ни я, ни она, конечно, не имели этого в виду на самом деле.

В центре было хорошо — тихо и малоллюдно. Я бродил по переулкам между Тверским бульваром и Садовым кольцом, думая нечто смутное, не до конца

поддающееся переводу в слова: что летняя Москва хороша не своими домами и улицами, а намеком на те таинственные невозможные места, куда из нее можно уехать. Этот намек был повсюду — в ветерке, в легких облаках, в тополином пухе (тополя в то лето цвели рано).

Вдруг мое внимание привлекла стрелка на тротуаре. Она была нарисована зеленым мелком. Рядом со стрелкой была надпись тем же цветом:

*Реальный шанс войти в элиту  
22.06 18.40–18.55  
Второго не будет никогда*

Часы показывали без пятнадцати семь. Кроме того, было именно двадцать второе июня, день летнего солнцестояния. Стрелку уже прилично затерли подошвы. Было ясно, что это чья-то шутка. Но мне захотелось поиграть в предложенную неизвестно кем игру.

Я огляделся по сторонам. Редкие прохожие шли по своим делам, не обращая на меня внимания. В окнах вокруг тоже не было ничего интересного.

Стрелка указывала в подворотню. Я зашел в арку и увидел на асфальте другую зеленую стрелку — в глубину двора. Никаких надписей рядом не было. Я сделал еще несколько шагов и увидел маленький хмурый двор: две старые машины, мусорный контейнер и дверь черного хода в крашеной кирпичной стене. На асфальте перед дверью была еще одна зеленая стрелка.

Такие же были и на лестнице.

Последняя стрелка была на пятом этаже — она показывала на бронированную дверь черного хода большой квартиры. Дверь была приоткрыта. Затаив

дыхание, я заглянул в щелку и сразу же испуганно отшатнулся.

В полутьме за дверью стоял человек. В руке у него был какой-то предмет, похожий на паяльную лампу. Но я не успел ничего рассмотреть. Он что-то сделал, и наступила тьма.

Здесь мои воспоминания о прошлом приблизились к настоящему настолько, что я вспомнил, где нахожусь, — и пришел в себя.

## МИТРА

Я стоял у той же шведской стенки. Мне жутко хотелось в туалет. Кроме того, что-то было не в порядке с моим ртом. Проинспектировав его языком, я понял, что верхние клыки вывалились из десны — теперь на их месте были две дыры. Видимо, я выплюнул зубы во сне — во рту их не было.

Кажется, в комнате появился кто-то живой — но я не мог сфокусировать взгляд и видел перед собой просто мутное пятно. Это пятно пыталось привлечь мое внимание, производя тихие звуки и совершая однообразные движения. Внезапно мои глаза сфокусировались, и я увидел перед собой незнакомого человека, одетого в черное. Он водил рукой перед моим лицом, проверяя, реагирую ли я на свет. Увидев, что я пришел в себя, незнакомец приветственно кивнул головой и сказал:

— Митра.

Я догадался, что это имя.

Митра был сухощавым молодым человеком высокого роста, с острым взглядом, эспаньолкой и еле обозначенными усами. В нем было что-то мефистофелевское, но с апгрейдом: он походил на продвинутого беса, который вместо архаичного служения злу встал на путь прагматизма, и не чурается добра, если оно способно быстрее привести к цели.

— Роман, — сипло выговорил я и перевел глаза на диван у стены.

Трупа на нем уже не было. Крови на полу тоже.

— А где...

— Унесли, — сказал Митра. — Увы, это трагическое событие застало нас врасплох.

— Почему он был в маске?

— Покойный был обезображен в результате несчастного случая.

— Поэтому он и застрелился?

Митра пожал плечами.

— Никто не знает. Покойный оставил записку, из которой следует, что его преемником будешь ты...

Он смерил меня внимательным взглядом.

— И это похоже на правду.

— Я не хочу, — сказал я тихо.

— Не хо-че-шь? — протянул Митра.

Я отрицательно покачал головой.

— Не понимаю, — сказал он. — Ты, по-моему, должен быть счастлив. Ты ведь продвинутый парень. Иначе бы Брама тебя не выбрал. А единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране — работать клоуном у пидарасов.

— Мне кажется, — ответил я, — есть и другие варианты.

— Есть. Кто не хочет работать клоуном у пидарасов, будет работать пидарасом у клоунов. За тот же самый мелкий прайс.

На это я не стал возражать. Чувствовалось, что Митра знает жизнь не понаслышке.

— А ты теперь вампир, — продолжал он. — Ты просто еще не понял, как тебе повезло. Забудь сомнения. Тем более что назад дороги все равно нет... Лучше скажи, как самочувствие?

— Плохо, — сказал я. — Голова очень болит. И в туалет хочется.



— Что еще?

— Зубы выпали. Верхние клыки.

— Сейчас мы все проверим, — сказал Митра. — Одна секунда.

В его руке появилась короткая стеклянная пробирка с черной пробкой. Она была до половины заполнена прозрачной жидкостью.

— В этом сосуде водный раствор красной жидкости из вены человека. Она разведена из расчета один к ста...

— А кто этот человек?

— Узнай сам.

Я не понял, что Митра имеет в виду.

— Открой рот, — сказал он.

— Это не опасно?

— Нет. Вампир иммунен к любым болезням, передающимся через красную жидкость.

Я повиновался, и Митра аккуратно уронил мне на язык несколько капель из пробирки. Жидкость ничем не отличалась от обычной воды — если в ней и было что-то чужеродное, на вкус это не ощущалось.

— Теперь потри языком о верхнюю десну. Ты кое-что увидишь. Мы называем это маршрутом личности...

Я потрогал нёбо кончиком языка. Там теперь было что-то чужеродное. Но больно не было — ощущалось только легкое пощипывание, как от слабого электричества. Я несколько раз провел языком по десне, и вдруг...

Не будь я привязан к шведской стенке, я бы, наверное, не удержал равновесия. Внезапно я испытал яркое и сильное переживание, не похожее ни на что из известного мне прежде. Я увидел — или, вернее, почувствовал — другого человека. Я видел его изнутри, словно я сделался им сам, как иногда бывает во сне.

В похожем на полярное сияние облаке, которым мне представился этот человек, можно было выделить две зоны — как бы отталкивания и притяжения, темноты и света, холода и тепла. Они входили друг в друга множественными кляксами и архипелагами, так что их пересечение напоминало то теплые острова в ледяном море, то холодные озера на согретой земле. Зона отталкивания была заполнена неприятным и тягостным — тем, чего этот человек не любил. Зона притяжения, наоборот, содержала все, ради чего он жил.

Я увидел то, что Митра назвал «маршрутом личности». Сквозь обе зоны действительно проходил некий трудноописуемый невидимый маршрут, подобие колеи, куда внимание соскальзывало само. Это был след привычек ума, борозда, протертая повторяющимися мыслями — нечеткая траектория, по которой изо дня в день двигалось внимание. Проследив за маршрутом личности, можно было за несколько секунд выяснить все самое важное про человека. Я понял это без дополнительных объяснений Митры — словно когда-то уже знал все сам.

Человек работал компьютерным инженером в московском банке. У него было множество секретов от других людей, были даже стыдные секреты. Но главной его проблемой, позором и тайной было то, что он плохо разбирался в «Windows». Он ненавидел эту операционную систему как зэк злого надзирателя. Доходило до смешного — например, просто из-за существования «Windows Vista» у него портилось настроение, когда он слышал в кино испанское выражение «hasta la vista». Все, связанное с работой, располагалось в зоне отталкивания, а в самом центре реял флаг «Windows».

В центре зоны притяжения был, как мне сначала показалось, секс — но, приглядевшись, я понял, что

главной радостью в этой жизни было все-таки пиво. Упрощенно говоря, человек жил для того, чтобы пить качественное немецкое пиво немедленно вслед за половым сношением — и ради этого переносил все ужасы службы. Возможно, он сам не понимал про себя главного — но мне это было очевидно.

Я не могу сказать, что чужая жизнь открылась мне полностью. Я словно стоял у приоткрытой двери в темную комнату и водил по разрисованной стене лучом фонаря. Каждая из картинок, на которой я задерживал внимание, приближалась и дробилась на множество других, и так много-много раз. Я мог добраться до любого воспоминания — но их было слишком много. Затем картинки потускнели, как будто у фонаря села батарейка, и все исчезло.

— Видел? — спросил Митра.

Я кивнул.

— Что?

— Компьютерный специалист.

— Опиши.

— Как весы, — сказал я. — С одной стороны пиво, с другой «Виндоуз».

Митра не удивился этой странной фразе. Он уронил каплю жидкости себе в рот и несколько секунд шевелил губами.

— Да, — согласился он. — Виндоуз х-р-р-р.

Я тоже не удивился, услышав это: компьютерный специалист выражал свою ненависть к одной из версий обслуживаемого продукта, произнося «XP» по-русски — получалось как бы тихое похрюкивание.

— Что я видел? — спросил я. — Что это было?

— Твоя первая дегустация. В предельно облегченном варианте. Если бы препарат был чистым, ты бы перестал понимать, кто ты на самом деле. И продолжалось бы все гораздо дольше. С непривычки можно получить психическую травму. Но так остро все ощу-